



Что такое книга новых стихов? Это – ряд стихотворений, обдуманный, выстроенный ряд: стихи не сброшены в кучу, не следуют друг за другом в хронологическом порядке, а составляют некий узор, держатся за руки, находят для себя нужного им соседа. Нужного по какому-то внутреннему сходству или, наоборот, вследствие явной противоположности, по контрасту. Кроме того, в книге стихов, в этом содружестве есть непредумышленная общность: все они написаны за несколько последних лет, в них запечатлены те мысли, чувства, «наблюдения ума» и «заметы сердца», которыми ты жил. А можно сказать еще и так: в них остановлены мгновения, и не только счастливые, но и мрачные, печальные тоже. Но стихи так устроены, что пишущий их в процессе создания стихотворения избавляется от тоски, преодолевает мрак. И эта энергия, этот порыв преодоления «тяжести недоброй», возможно, пригодится и твоему читателю.

За пятьдесят с лишним лет («Первое впечатление» вышло в 1962 году) мною написано много книг, эта – восемнадцатая! Не слишком ли много? Сегодня принято стесняться многописания. Напечатал поэт два стихотворения за год – и его хвалит критика, хвалит, я думаю, потому, что одно стихотворение прочесть легче, чем десять. Стихи читать трудно, да и некогда.

Но Пушкин писал много. К тридцати семи годам создал столько, сколько нам в том возрасте и не снилось! А Лермонтов, а Блок... Вот с них-то и надо брать пример.

А как вспомню Шагала или Моне,
 Сколько ими написано в тишине
 Мастерской или где-нибудь на пленэре,
 Понимаю, куда до них, пылких, мне!
 Но пример их волнует, по крайней мере,
 И бодрит, утешительный для меня.
 Эти скалы, соборы, лицо коня...
 А Шопен! А Бетховен, свое призванье
 До последнего не покидавший дня,
 И в беде, – и не стыдно многописанья!

И вот что еще выяснилось с годами: возраст стихам не помеха. А может быть, он даже помогает их писать, не так, как в юности, а по-другому. Лучше ли, хуже – не мне судить, но по-другому, по-новому. Поэт на пенсию не выходит. Семидесятилетний Фет в одном из последних стихотворений воскликнул: «Ах, как пахнуло весной! Это, наверное, ты...» Наверное, это и есть сопротивление злу жизни и ее бедам, сопротивление смерти; стихи утешают нас, возвращают нам желание жить, «чтоб мыслить и страдать».

1.

Хорошо, что ни яхты у нас, ни виллы
Хорошо, что ни Фалька, ни Ренуара.
Хорошо, что не мраморные перила.
Ни шофера, ни горничной, ни швейцара.
Даже автомобиля, спасибо, нету,
Цветника под окном, подъездной аллеи.
Каково бы нам было оставить эту
Жизнь, блаженные прихоти и затеи!

Бубенцами мы на колпаке Фортуны
Не гремели, как сказано у Шекспира,
Но бывали мы на море ночью лунной
И была в Петербурге у нас квартира,
То есть располагались посередине
Ее милостей, а не у пыльных пяток.
Гамлет прав: ни ущербности, ни гордыни –
Наш удел не из лучших – и всё же сладок.

Я стою, опираясь на спинку стула,
Жаль мне комнаты, кресла и этой желтой
Пепельницы, что вдруг под лучом сверкнула,
Даже двери входной и на ней щеколды,
А про небо в окне, облака в полете
Уж и не говорю, – улететь бы с ними,
Растворившись в вечерней их позолоте,
Всё отдав, даже комнату, даже имя.

И лежу я, околдован...
И.Анненский

Кто ты? Что ты? Кто ты? Что ты?
Это тикают часы.
Философские заботы,
Жизни детские азы.

Городского неба розов
Полог в сумерках ночных.
А исканий и запросов
Я не знаю никаких.

Роковых перерождений,
Переломов, катастроф,
Вековых нагромождений
Установок и основ.

Но часы меня смущают,
Отмахнуться не дают.
Кто ты? Что ты? – повторяют,
Кто ты? Что ты? – пристают.

И сижу я, зачарован
Их вопроса прямотой.
Кто же знает, кто он, что он?
Шопенгауэр, Толстой?

Не запнутся, не споткнутся,
Им не стыдно, не смешно.
Циферблат у них, как блюдце,
И во тьме блестит оно.

Я их в комнату другую,
Под шумок перенесу:
Пусть там тикают впустую, –
От тоски себя спасу.

Я даже ручку дверную люблю,
Медную, желтую, скользкую ручку.
Вот обопрись на нее, надавлю,
Что ж говорить про звезду или тучку!

Жест машинальный, когда спохвачусь,
Словно на нем себя, быстром, поймаю,
Чуден, как будто я сам себе снюсь,
Как на земле оказался, не знаю.

Комната, облако, стол и тетрадь,
Радости, горести, окна и двери...
Смысл? Я не знаю, по правде сказать,
Так ли он нужен мне? Я не уверен.

Эти трое любят первую ласточку:
Муж с бородкою, юноша и подросток.
Это лучше, чем воинский быт палаточный,
Даже эпос троянский, такой громоздкий!

Что за чудная ваза краснофигурная!
Где суровость, безжалостность и свирепость?
Солнце чудится, видится даль лазурная.
Вообще это лирика, а не эпос!

И каким же сиянием вся пропитана,
И какую простую несет идею!
И как будто она на меня рассчитана,
Что когда-нибудь я залюбуюсь ею.

Душа – элизиум теней и хочет быть звездой,
Но звезды знают ли о ней в ее тоске земной?
Они горят миллионы лет, быть может, потому,
Что о душе и речи нет у спрятанных во тьму.

Но, может быть, во тьме ночной, в сиянье неземном
Звезда б хотела быть душой, омытой летним днем,
И в хладной вечности своей, среди надмирной тьмы,
Раскрыв объятия для теней, быть смертною, как мы.

Утром тихо, чтобы спящую
Мне тебя не разбудить,
Я встаю и дверь скрипящую
Пробую уговорить
Обойтись без скрипа лишнего,
И на цыпочках, как вор,
Может быть, смеша Всевышнего,
Выбираюсь в коридор.

Есть в моем печальном опыте
Знание горестное. Вот,
Так и есть: в соседней комнате
На столе записка ждет:
«Провела полночи с книжкой,
Не могла никак уснуть.
Постарайся утром мышкою
Быть. Не звякни чем-нибудь».

Спи, не звякну. Все движения
Отработаны, шаги,
Как церковное служение,
Не забыты пустяки,
Всё обдуманно и взвешено,
Не должно ничто упасть.
Спи. К любви печаль подмешена,
Страх, а думают, что страсть.

Мы в постели лежим, а в Чегеме шумит водопад.
Мы на кухне сидим, а в Чегеме шумит водопад,
Мы на службу идем, а в Чегеме шумит водопад,
Мы гуляем вдвоем, а в Чегеме шумит водопад.

Распиваем вино, а в Чегеме шумит водопад.
Открываем окно, а в Чегеме шумит водопад.
Мы читаем стихи, а в Чегеме шумит водопад.
Мы заходим в архив, а в Чегеме шумит водопад.

Нас, понурых, с колен, а в Чегеме шумит водопад,
Поднимает Шопен, а в Чегеме шумит водопад.
Жизнь с собой не забрать, и чему я особенно рад, –
Буду я умирать, а в Чегеме шумит водопад!

Мои друзья, их было много,
Никто из них не верил в Бога,
Как это принято сейчас.
Из Фета, Тютчева и Блока
Их состоял иконостас.

Когда им головы дурили,
«Имейте совесть», – говорили,
Был горек голос их и тих.
На партсобрания не ходили:
Партийных не было среди них.

Их книги резала цензура,
Их пощадила пуля-дура,
А кое-кто через арест
Прошел, посматривали хмуро,
Из дальних возвратившись мест.

Как их цветочки полевые
Умели радовать любые,
Подснежник, лютик, горицвет!
И я, – тянулись молодые
К ним, – был вниманьем их согрет.

Была в них подлинность и скромность.
А слова лишнего «духовность»
Не помню в сдержанных речах.
А смерть, что ж смерть, – была готовность
К ней и молчанье, но не страх.

Вдруг сигаретный дым в лучах настольной лампы,
Колеблясь и клубясь, как будто оживет
И в шестистопные мои заглянет ямбы,
Став тенью дорогой – и сбоку подойдет,
И, голову склонив седую, напугает –
Ведь я не ожидал, что, обратившись в дым,
Давно умерший друг еще стихи читает
И помнит обо мне, и радуется им.

Под камнем гробовым хранится пепел в урне,
На кладбище давно я не был, но ему
В волокнах голубых с подсветкою лазурной
Удобней подойти в клубящемся дыму
И ободрить меня задумчивым вниманьем,
И обнаружить свой нетленный интерес
К тому, что он любил, – и счастлив пониманьем
Я, и каких еще, скажи, желать чудес?

Не говори мне о потомках,
Я плохо вижу их в потёмках,
Насколько ж мне понятней предки!
Смотри: на нас глядит Потёмкин
В саду Таврическом сквозь ветки.

Когда бы мы ему сказали,
Что Крым, как шляпу, потеряли,
И Крым плывет под желтым флагом,
Он отвернулся бы в печали,
Пришел бы в ярость – и заплакал.

Картины, музыку, романы –
Всё это предки сочинили.
Простим им войны и обманы,
Люблю голландские тюльпаны,
Миф о Тезее и Ахилле.

Люблю стихи о незнакомке,
О Саломее и соломке,
Прости, пишу я хаотично.
А что придумают потомки,
Мне почему-то безразлично.

Поговорить бы тихо сквозь века
С поручиком Тенгинского полка
И лучшее его стихотворенье
Прочесть ему, чтоб он наверняка
Знал, как о нем высоко наше мнение.

А горы бы сверкали в стороне,
А речь в стихах бы шла о странном сне,
Печальном сне, печальней не бывает.
«Шел разговор веселый обо мне» –
На этом месте сердце обмирает.

И кажется, что есть другая жизнь,
И хочется, на строчку опершись,
Ту жизнь мне разглядеть, а он, быть может,
Шепнет: «За эту слишком не держись» –
И руку на плечо мое положит.

Мой друг, за всех, кто в мире одиноко
Под бой часов встречает Новый год,
За всех за них, кем так судьба жестоко
Распорядилась сумрачная – вот
За них мне выпить хочется, да будет
Полегче им, внезапно, просто так!
И свысока пусть их никто не судит,
И вспыхнет свет в них, разгоняя мрак.

Откуда свет возьмется, я не знаю.
Сам по себе, быть может, из души,
Что подошла к обрывистому краю
В заброшенности полной и глуши,
И ожила, наперекор печали,
И осветила пропасть под собой,
В такие заглянув ночные дали,
Как в поздний час – фонарь береговой.

И благодарны слезы лить.

Державин

Да, надо бросить всё, поехать в Нарву, что ли,
Снять маленький покой, старушка-немка пусть
Хлопочет за стеной, и там по доброй воле
Своей заночевать, забыв земную грусть
И тяготы забот столичных, и обиды,
Которыми для нас земная жизнь полна, –
И там приснится сон, и в этом сне облиты
Сияньем будут стол, и кресло, и стена,
И, в этот свет зайдя, – ни горе, ни тревога
Не властны над тобой – такой волшебный свет,
Заплакать от любви, узрев душою Бога,
И оду написать, которой лучше нет.

Ночь в деревне завидует ночи в городе,
Говорит: Ну какая ж ты ночь? Ты свет,
Ты в витринном, фонарном, трамвайном золоте
И полночи не спишь, и отбоя нет
В заведенных ночных от веселой публики,
И расходятся за полночь из гостей
Музыканты, актеры, девицы, жулики,
Развлекая тебя, ты полна страстей.

Городская мрачнеет, не соглашается,
Говорит деревенской: Ты так тиха,
Только ветер вздохнет, только пес разлается,
Птица вскрикнет, зарывшись в твои меха
И шелка, да машина подкрасит фарами
На дорогу с реки набежавший пар,
Только кто-то к окну подойдет, кошмарами
Сна напуган – и звезды стряхнут кошмар.

Смысл жизни надо с ложечки кормить,
И баловать, и на руках носить,
Подмигивать ему и улыбаться.
Хорошим человеком надо быть.
Пять-шесть детей – и незачем терзаться.

Большая, многодетная семья
Нуждается ли в смысле бытия?
Фриц кашляет, Ганс плачет, Рут смеется.
И ясно, что Платон им не судья,
И Кант пройдет сквозь них – и обернется.

Когда б не смерть, то умерли б стихи,
На кладбище бы мы их проводили,
Холодный прах, подобие трухи,
Словесный сор, скопление лишней пыли,
В них не было б печали никакой,
Сплошная болтовня и мельтешенье.
Без них бы обошлись мы, боже мой:
Нет смерти – и не надо утешенья.

Когда б не смерть – искусство ни к чему.
В раю его и нет, я полагаю.
Искусство заговаривает тьму,
Идет над самой пропастью, по краю,
И кто бы стал мгновеньем дорожить,
Не веря в предстоящую разлуку,
Твердить строку, листочек теребить,
Сжимать в руке протянутую руку?

«Прими сей череп, Дельвиг, он
Принадлежит тебе по праву...

Пушкин.

На месте Дельвига подарок бы не принял,
Хотя и пушкинский, а все-таки б вернул!
Держать за пепельницу череп из гордыни,
Смеясь над вечным сном, да кто бы ни уснул!
Или, отмыв его, в пристойную оправу
Взяв, пить вино в пиру из чаши гробовой?
Антон Антонович жестокою забаву
Отверг – и строчкой не ответил ни одной.

Ни стихотворного ответа на посланье,
Ни слова где-нибудь в письме... Такой ответ,
Такое полное, глубокое молчанье
Красноречивее. Нет слов. И, правда, нет.
А года через три, когда загробной тенью
«Мой милый Дельвиг» стал, наверное, тогда
С тоской и горечью свое стихотворенье
Припоминал поэт, беда, – шептал, – беда.

«Я лучше, кажется, была».
Да чем же лучше? Меньше знала,
Одна гуляла и спала
И книжки жалкие читала,
Да с бедной няней о любви
Однажды зря заговорила.
Хотя, конечно, соловьи,
Луна, балконные перила...

Но неужели Пустяков,
Мосье Трике с его куплетом
Милей столичных остряков
Или поклонников с лорнетом?
«К ней как-то Вяземский подсел».
Да за одну такую встречу
Не жаль отдать и лунный мел,
И полку книг, – я вскользь замечу.

Мы лучше не были. Душа
Растет, приобретая опыт,
И боль давнишняя свежа,
И с нами тот же листьев шепот,
И речка сельская с Невой
Текут, в одну сливаясь реку.
Как жизнь прекрасна, боже мой!

2.

Я-то помню еще пастухов,
И коров, и телят, и быков
По дороге бредущее стадо,
Их мычанье густое и рёв,
Возвращенье в село до заката.

Колокольчик звенел, дребезжал.
Луг за лесом, как маленький зал,
Объезжал я на велосипеде,
Где паслись они, словно на бал
Приведенные из дому дети.

И другой их лужок поджидал
Где-нибудь за пригорком, и третий.

Мух и оводов били хвостом.
Стадо пахло парным молоком,
У кустов залегали тщедушных.
Было что-то библейское в том,
Как пастух подгонял непослушных.

О, как чуден был вид и пятнист!
Словно нарисовал их кубист,
Я Сезанна любил и Машкова,
Одинокий велосипедист.
Дай мне к речке проехать, корова!

Поворот, небольшая петля.
Так сегодня не пахнет земля,
Как тогда оглушительно пахла.
Словно вечность, грустить не веля,
Помахала рукой и иссякла.

О, водить бы автобус из Гатчины в Вырицу,
Знать всех местных старух, стариков,
Тополь в этот маршрут ковыляющий вклинится,
Поднапрёт волчье лыко с боков,
И сирень, проводив шаркуна до околицы,
Передаст его ельнику – пусть
Тот за ним до оврага под Сиверской гонится,
Навевая дорожную грусть.

Есть такие работы, такие профессии –
Позавидуешь им, заглядысь
На избыток того, что зовется поэзией,
Объезжающей лужи и грязь,
По пути подбирая и мать с первоклассником,
И торговку с заплечным мешком,
Неожиданно будничность делая праздником
И внушая смирение тайком.

Собака живет во дворе, на цепи.
Хозяин выводит гулять ее, хмурый.
Терпи свою жизнь, дорогая, терпи,
Есть кошки, есть мыши, лягушки и куры,
А в комнатах ты никогда не была,
И дом тебе, видимо, кажется раем,
Откуда выносят еду, и тепла
Там много, за твердым порогом, за краем.

Собака умрет – и душа ее в дом
Еще переселится, к Богу поближе.
Под ветром не будет дрожать, под дождем
И снегом, терпи, дорогая, терпи же,
Ты будешь есть мясо, лакать молоко,
Лежать на диване, забыв про изгнание.
А богом быть стыдно, но стыд далеко
Запрятан, скорее всего, в подсознание.

ЛОПУХ

Знал бы лопух, что он значит для нас,
Шлемоподобный, глухое растение,
Ухо слоновье подняв напоказ,
Символизируя прах и забвенье,
Вогнуто-выпуклый, в серой пыли,
Скроен неряшливо и неказисто,
Как бы раскинув у самой земли
Довод отступника и атеиста.

Трудно с ним спорить, – уж очень угрюм,
Неприхотлив и напорист, огромный,
Самоуверенный тяжелодум,
Кажется только, что жалкий и скромный,
А приглядеться – так тянущий лист
К зрителю, всепобеждающий даже
Древний философ-материалист
У безутешной доктрины на страже.

Любимый запах? Я подумаю.
Отвечу: скошенной травы.
Изъяны жизни общей суммою
Он лечит, трещины и швы,
И на большие расстояния
Рассчитан, незачем к нему
Склоняться, затаив дыхание,
И подходить по одному.

Не роза пышная, не лилия,
Не гроздь сирени, чтоб ее
Пригнув к себе, вообразили мы
Иное, райское житьё, –
Нет, не заоблачное, – здешнее,
Земное чудо, – тем оно
Невыразимей и утешнее,
Что как бы обобществлено.

Считай всеобщим достоянием
И запиши на общий счет
Траву со срезанным дыханием,
Ее холодный, острый пот,
Чересполосицу и тление
И странный привкус остроты,
И ждать от лезвия спасения
Она не стала бы, как ты.

Влажных бабочек что-то ни разу
Я не видел и мокрых стрекоз,
А ведь ливень, бывает, по часу
Льет и дольше, сплошной и всерьез.

Где же спрячутся милые твари?
Тварь – не лучшее слово для них.
Государыни и государи
В ярких тканях, снастях слюдяных.

Запах сырости сладкой и прели,
Вымок дрок и промок зверобой.
Ни одной нет не залитой щели,
Ямки, выемки, складки сухой.

Не о жизни, пронизанной светом,
Не о смерти, съедающей свет,
У Набокова только об этом
Я спросил бы: он знает ответ.

Каково это елкой явиться на свет,
Не березой, не кленом, не дубом,
И дожить до восьми, до двенадцати лет
И заваленной быть лесорубом!

Мне, когда я увидел их в грузовике,
Стало стыдно и страшно, ей-богу.
И причем Вифлеем здесь? Они ж не в песке,
Снег на жалких дрожал всю дорогу.

Я представил ужасную вырубку там,
Где они, подрастая, стояли.
Рождество – это радость, пришедшая к нам,
И гектары тоски и печали.

Стройный стан в серпантин будет, в блески одет,
И шары золотые повесят.
Справедливости не было в мире и нет,
Ею только клянутся и грезят.

А что было с Лазарем дальше, увы, не знаем.
В одиннадцатой главе он воскрес, потом
Ни в поле, ни в роще, ни дома, ни за сараем –
Нигде не мелькнул. Иоанн позабыл о нем.

И это обидно и даже немного странно:
Ну, как же, воскрес – так скажи что-нибудь, пойдя
За другом своим, но Евангелие туманно.
Еще десять глав – не сидел же он взаперти!

Неужто же справиться так и не мог с испугом
И четырехдневная смерть сокрушила дух?
А ведь Иисус называл его своим другом!
А может быть, слишком был счастлив? Одно из двух.

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

Чемпионатом мира по футболу
Я был, как все, в июне увлечен.
Не потому ли, полный произвола,
Невероятный мне приснился сон?

Сказать, какой? Но я и сам не знаю,
Удобно ли в таком признаться сне?
Что я в футбол с Ахматовой играю,
Пасую ей, она пасует мне.

Мы победим Петрова с Ивановым!
Дурацкий сон, ведь я предупреждал.
Мы лучше их владеем точным словом:
Они спешат, не выйти им в финал.

Она спросила: Кто они такие?
Хотел сказать, но тут же позабыл.
На ней мерцали бусы дорогие,
А плащ к футболке плохо подходил.

Веселый сон, но сколько в нем печали!
С футбольным полем рядом – дачный лес.
А выиграли мы иль проиграли –
Не буду врать: сон был и вдруг исчез.

О «Бродячей собаке» читать не хочу.
Артистических я не люблю кабаков.
Ну, Кузмин потрепал бы меня по плечу,
Мандельштам бы мне пару сказал пустяков.

Я люблю их, но в книгах, а в жизни смотреть
Не хочу, как поэты едят или пьют.
Нет уж, камень так камень, и скользкая сеть,
А не амбициозный и дымный уют.

И по сути своей человек одинок,
А тем более, если он пишет стихи.
Как мне нравится, что не ходил сюда Блок,
Ненаходчив, стыдясь стиховой шелухи.

Не зайдём. Объясню, почему не зайдём.
И уже над платформами, даль замутив,
«Петроградское небо мутилось дождем».
Вот, наверное, самый печальный мотив.

«И не такие царства погибали!» –
Сказал синода обер-прокурор
Жестоко так, как будто на медали
Он выбил свой суровый приговор.

И не такие царства. А какие?
Египет, Рим, Афины, может быть?
Он не хотел гибели России
И время был бы рад остановить.

И вынув из жилетного кармана
Часы, смотрел на них, но время шло.
Тогда вставал он с жесткого дивана
И расправлял свиное крыло.

А что теперь? Неужто всё сначала?
Опять смотреть с опаской на часы?
Но столько раз Россия погибала
И возрождалась вновь после грозы.

Итак, фонарь, ночь, улица, аптека,
Леса, поля с их чудной тишиной...
И мне не царства жаль, а человека.
И Бог не царством занят, а душой.

ПЛАТФОРМА

Промелькнула платформа пустая, старая,
Поезда не подходят к ней, слой земли
Намело на нее, и трава курчавая,
И цветочки лиловые проросли,
Не платформа, а именно символ бренности
И заброшенности, и пленяет взгляд
Больше, чем антикварные драгоценности:
Я ведь не разбираюсь в них, виноват.

Где-нибудь в Нидерландах или Германии
Разобрали б такую, давно снесли,
А у нас запустение, проседание,
Гнилость, ржавчина, кустики, пласт земли
Никого не смущают, – цветы, забытая
И ненужная, мокни хоть до конца
Света, сохни, травой, как парчой, покрытая,
Ярче памятника и пышней дворца!

С.В. Волкову

Художник напишет прекрасных детей,
Двух мальчиков-братьев на палубной кромке
Или дебаркадере. Ветер, развей
Весь мрак этой жизни, сотри все потемки.

В рубашечках белых и синих штанах,
О, как они розовы, черноволосы!
А море лежит в бледно-серых тонах
И мглисто-лиловых... Прелестные позы:

Один оглянулся и смотрит на нас,
Другой наглядеться не может на море.
Всегда с ними ласкова будь, как сейчас,
Судьба, обойди их, страданье и горе.

А год, что за год? Наклонись, посмотри,
Какой, – восемьсот девяносто девятый!
В семнадцатом сколько им лет, двадцать три,
Чуть больше, чуть меньше. Вздохну, соглядатай,

Замру, с ними вместе глядящий на мел
И синьку морскую, и облачность эту...
О, если б и впрямь я возможность имел
Отсюда их взять на другую планету!

Венеция, не умирай, не надо!
Переживи нас всех и напиши о нас
Винтами на воде, как ты была нам рада,
С приезжих не сводя своих зеленых глаз.

Как любовались мы твоим полураспадом,
Притопленный ценя твой мрамор и кирпич,
И смерть была такой прекрасной с нами рядом,
Что в руки взять ее хотелось и постичь.

Нисколько не боясь, вникая в закоулки,
С канала на канал легко переходя,
С моста на мост, как бы найдя в твоей шкатулке
Не страшную ничуть разгадку бытия.

Как горит на закате
Крепостная стена,
Как уложена кстати
Кирпичами она!

С кирпичом не сравнится
Ни один матерьял,
Так он влажно лоснится,
Так он сумрачно-ал!

И в Венеции дожи
Поощряли кирпич,
И Манчестера тоже
Без него не постичь.

О, фабричные стены,
Как пылаете вы
Кирпичом откровенным
В ответвлениях Невы!

И гранита не надо,
Мрамор здесь ни при чем
В этих отсветах ада
С райским призывом в нем.

Корсика, Эльба и остров Святой Елены,
Как они украшают Наполеона!
Больше, чем взятые им крепостные стены,
Жарче Египта и ярче любого трона.

Он и похож был на остров, покатоплечий,
Маршалов словно волною к нему прибило.
Ядрам не кланяясь и не страшась картечи.
А треуголка на Корсику походила.

И не дворцы, не кремли за его плечами
Видятся мне, а морские крутые скалы.
Бухтами он обведен, словно обручами,
Горными тропами: камни, кусты, провалы.

Как ему шло одиночество островное,
Так же, как слава, и даже еще сильнее!
Пенное, белое, желтое, кружевное,
Скорбный финал обвалившейся эпопеи.

Нет ничего притягательнее крушений,
Слаще руин и задумчивости глубокой
На безутешных обломках былых свершений,
Кто ж избежал той же участи одинокой?

У МОРЯ

С тяжелой женой в три обхвата
Спускается к морю старик.
Несчастлива она, виновата,
Что вид ее страшен и дик.

Действительно, лучше бы дома
Сидела, зачем ей жара
И влажная эта истома,
И в море купанье с утра?

Купальник врезается в складки
На теле, как в студень сырой.
Но он молодец, всё в порядке,
Он помнит ее молодой.

Быть может, чуть-чуть полноватой,
Но полной веселья и сил.
Завистник какой, соглядатай,
Насмешник ее подменил?

Привязанность, скажем, и память,
Не цепь, будем думать, не сеть.
И лучше их так и оставить
Вдвоем и на них не смотреть.

Супружеская пара. Терракота.
Она и он. Этресская гробница.
Не торопи меня. Мне грустно что-то.
А в то же время как не изумиться?

Не видно скорби. Что же это, что же?
Как будто даже рады нам с тобою.
Полулежат они на жестком ложе,
Как две волны, как бы фрагмент прибоя.

Как будто в жизнь могли бы возвратиться,
На берег выйти, смерть стряхнуть, как пену.
Как больно мне в их взглядываться лица!
Как будто мы пришли им на замену.

И так понятно мне, что ненадолго,
Что все века мучительны и зыбки.
Нужна замена, смерть нужна, прополка.
Когда б не эти две полуулыбки!

Как с морем жаль бывает расставаться,
Как на пути обратном, – путь пролег
Средь горных круч, – в автобусе томятся,
И вдруг его лазурный уголок
Блеснет внизу, как сказанное вкратце,
Как быстрый взгляд, привет или намек.

И снова горы в тусклой позолоте,
В густой щетине сосен и дубов,
И тень, и тьма, – и вдруг на повороте
Опять жемчужный клин, как дальний зов,
Как часть души, как счастье на отлете,
Страна любви, пристанище богов.

Прощай, прощай! Последнее прощанье,
Горячий вздох, любимая мечта.
Наверное, так пишут завещанье
И произносят слово «навсегда»,
Но синий проблеск, есть в нем обещанье,
И «нет» сказав, надеешься, что «да».

3.

РАЗГОВОР С ЦИКЛОПОМ

Глубокоуважаемый циклоп!
Пожалуйста, в сторонку отойдите,
Вы в дрожь меня вгоняете, в озноб,
Вы в плесени пещерной, в жутком виде,
И почему-то глаз у вас на лоб
Посажен, это странно, извините.

У вас я оказался под рукой
Случайно – и прошу у вас прощенья.
Ведь вы на самом деле не такой,
Как кажется, вам мнительность и мщенье
Наскучили, спросите: «Кто такой?»
Скажу: «Никто», потупившись в смущенье.

Почиститесь, помойтесь, лучше врозь
Нам быть, зачем вам этот гнев и злоба?
Смотрите, как просвечен куст насквозь
И к солнцу льнут цветы гелиотропа...

О, если б ужас жизни удалось
Уговорить мне так же, как циклопа!

Что случилось? – спросил я его вдову,
Неполадка какая-то в организме?
Иль тяжелой поездка была в Москву?
– Нет, – сказала, – он просто устал от жизни.

Говорил он мне это не раз, не два,
Не рисуясь, обдуманно и устало.
Мне бы вдуматься в эти его слова!
Я значенья им как-то не придавала.

А ведь всё было так хорошо. Успех
Поздновато пришел, но пришел, спасибо.
Говорил про унынье, что это грех,
За окном ему нравились клен и липа.

Я в окно посмотрел: что за благодать!
Солнце, дерево, в листья зарылся ветер, –
Боже мой, разве можно от них устать?
Значит, можно устать. От всего на свете.

Очки должны лежать в футляре,
На банку с кофе надо крышку
Надеть старательно, фонарик
Запрятан должен быть не слишком
Глубоко меж дверей на полке,
А Блок в шкафу с Андреем Белым
Стоять, где нитки – там иголки,
Всё под присмотром и прицелом.

И бедный Беликов достоин
Не похвалы, но пониманья.
Каренин тоже верный воин.
В каком-то смысле мирозданье
Они поддерживают тоже,
Дотошны и необходимы,
И хорошо, что не похожи
На тех, кто пылки и любимы.

Разговор ни о чем в компании за столом
Утомляет, какие-то шутки да прибаутки:
Так в спортзале с лентой перебрасываются мячом,
Так побрякивают, на пруду собираясь, утки.

Хоть бы кто-нибудь что-нибудь стоящее сказал,
Вразумительное, – возразить ему, согласиться!
Для того ли наполнен и выпит до дна бокал,
Чтобы вздор этот слушать весь вечер, – ведь я не птица.

Я хотел бы еще раз о жизни поговорить,
О любви или Шиллере – как обветшал он, пылкий,
Потому что два века не могут не охладить
Романтический пыл, – и к другой перейти бутылке.

Услужлив, узок, как пенал,
Хитер, усидчивостью взял,
Погладить моську рад чужую.
Сказала Софья, он смолчал:
Шел в комнату, попал в другую.

И нам в конце концов плевать,
Какую сделает опять
Он подлость, – сырость в нем и плесень, –
Но фраза – что за благодать!
Одна из лучших в старой пьесе.

С ней, прихотливой, легче жить.
О чем жалеть? Зачем грустить?
И всем ее рекомендую.
Умрешь – и вспомнишь, может быть:
Шел в комнату – попал в другую.

НЕМЕЦКАЯ СКАЗКА

Это в старой сказке было важно,
Что в чужом томится котелке
На плите и хлюпает протяжно,
Что несут в котомке, в узелке.

Что у них подсохло, что намокло
И о чем под вечер говорят.
Не хочу смотреть в чужие окна,
Видеть женский торс или наряд.

Это там, в тени средневековой
Узких улиц, в чудной тесноте
За чужой покупкой и обновой
Взгляд следил, потворствуя мечте.

Сватовство, кокетство, волокитство,
Мотовство, ребячество и блуд.
У меня большого любопытства
К людям нет, все как-нибудь живут.

Хороши пространства и просторы,
В отношеньях легкий холодок.
Я люблю, когда на окнах шторы
И людей не видит даже Бог.

ПОРТРЕТ

Не заноситься – вот чему
Портрет четвертого Филиппа
Нас учит, может быть, ему
За это следует спасибо
Сказать; никак я не пойму
Людей подобного пошиба.

Людей. Но он-то ведь король,
А короли какие ж люди?
Он хорошо играет роль
Бесчеловечную по сути.
Ты рядом с ним букашка, моль,
Он смотрит строго и не шутит.

Всё человеческое прочь
Убрал Веласкес из портрета.
Усы, как веточки точь-в-точь,
Уходят вверх, – смешно же это?
Нет, не смешно! И ночь есть ночь,
Дневного ей не надо света.

И власть есть власть, и зло есть зло,
Сама тоска, сама надменность.
Из жизни вытекло тепло,
Забыта будничность и брэнность.
Он прав, когда на то пошло.
Благодарю за откровенность!

Отгородясь от мира ясенем,
Кипящим за моим окном,
Как будто с чем-то не согласен я
И помышляю об ином,
Но под живой его защитой,
Как за зеленою стеной,
Я не срываюсь, не завидую,
Не рвусь, как воин, в вечный бой.

Я счастлив лиственным кипением,
Зеленым дымом без огня.
И Блок, наверное, с презрением
Посматривает на меня,
Но вечный бой, и гнев, и взвинченность
Ведут к такой большой беде,
Что лучше слабость, половинчатость,
Несоответствие мечте.

НА БОЛЬШОМ ПРОСПЕКТЕ

Большой проспект году в сорок седьмом
Представь себе – и станет страшновато
Не потому, что старый гастроном
Вернется, а давно исчез куда-то,
Не потому, что вырубленный сквер
Зашелестит опять, ведь это чудно,
Не потому, что мальчик-пионер
Тебя смутит – узнать его нетрудно,
Не потому, что праздничный портрет:
Усы, мундир, погоны на мундире,
Два этажа собою занял, свет
Затмив кому-то на три дня в квартире,
А потому, что все, почти что все,
Идущие по делу и без дела
В загадочности взрослой и красе
Лениво, быстро, робко или смело
В привычной для проспекта полумгле,
Он узок, как гранитное ущелье, –
Их никого нет больше на земле,
Нет никого, какое ж тут веселье?

А.В. Кулагину

Разве мы виноваты в почтовых своих адресах,
В том, что улицы наши имеют такие названья?
В городке под Москвой – Карла Либкнехта, словно впотьмах
Выбирали его неизвестно кому в назиданье.

Коминтерна, и Стойкости, улица Красных Ткачей,
И проспект Октября, и, ужасно подумать, Культуры!
Что мы сделали здесь из единственной жизни своей?
Ночью звезды недаром над нами так скупы и хмуры.

И стесняется глупого адреса наш адресат,
Выводя аккуратно и четко его на конверте,
Но с таким отвращеньем, как будто и впрямь виноват,
Что преследовать будет его этот адрес до смерти.

НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Какое чудное названье,
Подумай, – Новая Земля!
Когда б не тундра, не зиянье,
Не ледовитое дыханье,
А летний зной и тополя!

Топонимическая шутка,
Насмешка, смыслу вопреки?
Представь, как вьюга воеет жутко,
Торчат торосы, как клыки.

Какое чудное названье!
Кто, в экспедиции какой
Его придумал в оправданье
Мечты несбыточной, земной?
А там еще и Мыс Желанья
Есть, Мыс Желанья, боже мой!

Любимый прозаик считал, что Паскаля
Неплохо читать и печатать в газете,
Газеты бы сразу разумнее стали,
За Бога и жизнь пребывая в ответе,
А в книгах с обрезом златым, как пыльцою
Покрытых, на верхней хранящихся полке,
Газетные новости лучше с ленцою
Читать, объявления и кривотолки.

Когда судьба тебе свою ухмылку
Предъявит или черную печать,
Откупори шампанского бутылку
Иль перечти Шаламова опять.

И пустяком покажется обида,
И ерундой вчерашняя напасть,
Еще чуть-чуть поморщишься для вида,
Но обретешь свою над ними власть.

И вспомнишь речку, рощу или море,
Еще печенье в шкафчике найдешь
И скажешь: это горе всё не горе,
И мрак в душе не мрак, и дрожь не дрожь.

Слово «весел», «веселый», «веселье»
Повторяется, я посчитал,
Раз пятнадцать – то рядом с метелью,
То с камином, то это бокал
На пиру, то на крону лесную
Посмотрел, то примерил коньки,
То в скульптурную он мастерскую
Заглянул и замедлил шаги.

Что же мы, замыкаясь сурово
И угрюмости мрачной верны,
Так стесняемся этого слова,
Словно нет ни зимы, ни весны,
Словно что-то такое о жизни
Знаем нынче, чего он не знал,
Не бывал ни в беде, ни на тризне,
И не мыслил, и слез не глотал?

Из письма я узнал о чужом несчастье.
Неужели в стихах напишу об этом?
Буду рифму искать? Окажусь во власти
Слов, согласных смириться с таким сюжетом?

Разбегайтесь, слова, отвернитесь в страхе,
Откажитесь, в глубокую тень зайдите,
Станьте пеплом, залягте в пыли и прахе,
Перепутайте все смысловые нити.

Это хуже предательства. Это скупка
И продажа, трюкачество и паденье,
Что-то вроде бессовестного поступка,
И не надо такого стихотворенья.

– Уж если умирать, то осенью, – сказали.
Случайно я чужой подслушал разговор.
Хотелось уточнить, в конце или в начале
Осенних дней, но я прошел, потупив взор
И не взглянув на них: вопрос задать неловко.
Наверное, в конце, в слезливом ноябре
С опавшею листвою. Была бы жеребьёвка,
Я вылез бы тайком на свет, как мышь-полёвка,
За жребием в сырых подтёках на коре.

В преддверии зимы, среди травы пожухлой
И прутьев, на трухе и слякоти скользя,
С лежащей под кустом забытой детской куклой,
Разбухшей под дождем, непоправимо-пухлой.
А летом умирать или весной нельзя!

В импрессионизме милосердия
Столько, сколько радости и света...
Розоватым воздухом бессмертия
Подышу – так нравится мне это.

Есть ли смерть? – спрошу французских лодочников,
Лодочники скажут: смерти нету.
Я ответ их внятный, установочный
Рад принять за чистую монету.

Потому что завтрак продолжается
Вместе с поцелуями и смехом,
И всё это где-то отражается
В небесах каким-то вечным эхом.

Потому что ближе человечество
Никогда уже не подходило
К раю близко так: не надо жречества,
Дьякона не надо и кадила,
Потому что солнцем лучше лечится
Всё, что на земле страданьем было.

Питер де Хох оставляет калитку открытой,
Чтобы Вермеер прошел в нее следом за ним.
Маленький дворик с кирпичной стеною, увитой
Зеленью, улочка с блеском ее золотым!

Это приём, для того и открыта калитка,
Чтобы почувствовал зритель объём и сквозняк.
Это проникнуть в другое пространство попытка, –
Искусствовед бы сказал приблизительно так.

Виден насквозь этот мир – и поэтому странен,
Светел, подробен, в проёме дверном затенён.
Ты горожанка, конечно, и я горожанин,
Кажется, дом этот с давних я знаю времен.

Как безыдейность мне нравится и непредвзятость,
Яркий румянец и вышивка или шитье!
Главная тайна лежит на поверхности, прятать
Незачем: видят и словно не видят ее.

Скоро и мы этот мир драгоценный покинем,
Что же мы поняли, что мы расскажем о нем?
Смысл в этом желтом, – мы скажем, – кирпичном и синем,
И в белокожем, и в лиственном, и в кружевном!

4.

Пока Сизиф спускается с горы
За камнем, что скатился вновь под гору,
Он может отдохнуть от мошкары,
Увидеть всё, что вдруг предстанет взору,
Сорвать цветок, пусть это будет мак,
В горах пылают огненные маки,
На них не налюбишься никак,
Шмели их обожают, работяги,
Сочувствующие Сизифу, им
Внушает уваженье труд Сизифа;
Еще он может морем кружевным
Поллюбоваться с пеною у рифа,
А то, что это всё в стране теней
С Сизифом происходит, где ни маков,
Ни моря нет, неправда! Нам видней.
Сизиф – наш друг, и труд наш одинаков.

Жизнь загробная хуже, чем жизнь земная, —
Это значит, что грекам жилось неплохо.
Подгоняла триеру волна морская,
В ней сидели гребцы, как в стручке гороха.

Налегай на весло, ничего, что трудно,
В порт придем — отдохнет твоя поясница.
А в краях залетейских мерцает скудно
Свет и не разглядеть в полумраке лица.

Я не знаю, какому еще народу
Так светило бы солнце и птицы пели,
А загробная, тусклая жизнь с исподу
Представлялась подобием узкой щели!

Как сказал Одиссею Ахилл, в неволе
Залетейской лишенный огня и мощи,
На земле хорошо, даже если в поле
Погоняешь вола, как простой подёнщик.

Так кому же мне верить, ему, герою,
Или тем, кто за смертной чертой последней
Видит царство с подсветкою золотою,
В этой жизни как в тесной топчась передней?

Что Вергилий про воду в ведре и про лунный луч
Или солнечный в темном, наверное, помещенье
Написал: к потолку прилепляется, как сургуч,
И дрожит, и мерцает чудесное отраженье.

Этот отблеск порхает, скользит, умиляет взгляд
И, резьбу потолочную сделав волнообразной,
Ходит по потолку, словно призрак, вперед, назад,
Драгоценный, колышется, дышит во тьме, алмазный.

Медь ведра и вода в нем, под ярким лучом дрожа,
Демонстрируют на потолке торжество побега.
Разреши мне, Вергилий, добавить, что есть душа
У материи тоже, не только у человека.

Джону Малмстаду

А теперь он идет дорогой темной
В ту страну, из которой нет возврата, –
Было сказано с жалобой томной
Про воробышка, сдохшего когда-то.

Плачьте, музы! Но, может быть, дороги
Той не следует нам бояться слишком,
Если даже воробышек убогий
Проскакал раньше нас по ней вприпрыжку.

Проскакал – и назад не оглянулся,
Тенью стал – и мы тоже станем тенью.
Мне хотелось бы, чтобы улыбнулся
Тот, кто будет читать стихотворенье.

Англии жаль! Половина ее населенья
Истреблена в детективах. Приятное чтение!
Что ни роман, то убийство, одно или два.
В Лондоне страшно. В провинции тоже спасенья
Нет: перепачканы кровью цветы и трава.

Кофе не пейте: в нем ложечкой яд размешали.
Чай? Откажитесь от чая или за окно
Выплесните, только так, чтобы не увидали.
И, разумеется, очень опасно вино.

Лучше всего поменять незаметно бокалы,
Пить из чужого, подсунув хозяину свой.
Очень опасны прогулки вдоль берега, скалы;
Лестницы бойтесь, стоящей в саду, приставной.

Благотворительных ярмарок с пони и тиром,
Старого парка в его заповедной красе.
Может быть, всё это связано как-то с Шекспиром:
В «Гамлете» все перебиты, отравлены все.

ЕПИСКОП

Викторианская эпоха.
Епископ – праздничный наряд –
Но прорисован как-то плохо,
Иль общий сумрак виноват?
С батистовыми рукавами,
Как важный сан его велит,
Как будто недоволен нами,
Высокомерен и сердит.

Но есть какая-то стыдливость,
Неловкость в том, как он ладонь
На книге держит, – что случилось? –
Как будто руку жжет огонь,
Сомненье чудится, обида,
Отсюда мглистость и туман;
Или «Происхождение видов»
Прочел, тайком от прихожан?

Как выточен, как выпучен,
Похож на звероящера
Пузатый стол гостиничный
С его пустыми ящичками!

Пустоты деревянные,
Бессмысленные полости
С расчетом на пространные
Потерянные повести.

О, если бы из ящичка
Извлечь чужую рукопись
Забытую, шуршащую
От времени и сухости.

Назвался бы издателем
Шедевра неизвестного
И удружил читателям
Скупого века пресного.

«Гаманью» или «Вертером»,
Но с новой подоплекою,
Любовное поветрие
Связав с тоской глубокою.

Пускай влечет рассказчика
Стол, внутренность рассохлая.
Чур! Револьвера в ящичке
Нет, – только муха дохлая.

Когда листва, как от погони,
Бежит и ходит ходуном,
Как в фильме у Антониони
И у Тарковского потом,
Я отвести не в силах взгляда,
Такая это мгла и свет,
И даже фильмов мне не надо, —
Важна листва, а не сюжет.

Когда б на каннском фестивале,
Припомнив всю тоску и боль,
Ей, буйной, премию давали
За ею сыгранную роль,
Как это было б справедливо!
Она б раскланялась, опять
Фрагмент кипенья и надрыва
Сумев так чудно показать.

Тайны в Офелии нет никакой
И в Дездемоне, по-моему, тоже.
Только цветы, что всегда под рукой,
И рукоделье, и жемчуг, быть может.

Девичья прелесть и женская статья.
Утром так радужно в мире и сыро...
Тайна – зачем она, где ее взять?
Тайну придумали после Шекспира.

Песенка – да! Понимание – да!
Или упрямство и непониманье,
Только не тайна – мужская мечта,
Вымысел праздный, любви оправданье.

Чтоб на вопрос: почему полюбил
Эту Офелию, ту Дездемону,
Нужный ответ у мечтателя был,
Темный по смыслу, высокий по тону.

Имя Осип – не лучшее имя,
Для лакея подходит оно
И никак не сравнится с другими:
Вячеславу, должно быть, смешно,
И Валерию тоже; лежать бы
Днем на барской постели тайком,
Заезжая в трактиры, усадьбы,
По паркету ходить босиком.

Имя Осип – нелепое имя.
Щи хлебать бы да есть пироги,
А не далями грезить морскими,
С левой встав на рассвете ноги,
Что за жизнь, что за мука порою,
А в театре опять «Ревизор»,
Ах, уплыть бы с царями под Трою,
Чтобы пена смочила вихор!

Осип Эмильевич, два-три заскока,
Несколько чудных, как тень, недомолвок
В ваших стихах погубили так много
Душ среди здешних березок и елок.

Если б вы знали, какую смекалку,
Хитрость и ловкость они проявили
В шатких стихах, то схватили бы палку,
С лестницы черной их мигом спустили.

То, что нашёптано черною мукой,
Лестничным страхом, дверною пружиной,
Стало сегодня, во-первых, наукой,
А во-вторых, яйцекладкой мушиной.

Умные дурни, ученые дуры.
Вы, смысловик с голубыми белками,
Упоминательной клавиатуры
Им бы велели не трогать руками.

Музыка, мусор, муслин, замутненье
Мысли, маслины, Москва на медали –
Вот их ассоциативные звенья.
Осип Эмильевич, как вы отстали!

Вы и не знали, что вы герметичны,
И синкретичны, и интроспективны.
Вас раскусили, поймали с поличным
В цепком Воронеже, мерзлом и дымном.

Я люблю тиранию рифмы – она добиться
Заставляет внезапного смысла и совершенства,
И воистину райская вдруг залетает птица,
И оказывается, есть на земле блаженство.

Как несчастен без этого был бы я принужденья,
Без преграды, препятствия и дорогой подсказки,
И не знал бы, чего не хватает мне: утешенья?
Удивленья? Смятенья? Негаданной встречи? Встряски?

Это русский язык с его гулками падежами,
Суффиксами и легкой побежкой ударений,
Но не будем вдаваться в подробности; между нами,
Дар есть дар, только дар, а язык наш придумал гений.

Л.Столовичу

Минерва спит, не спит ее сова,
Всё видит, слышит темными ночами,
Все шорохи, все вздохи, все слова,
Сверкая раскаленными очами,
Ни шепот не пропустит, ни смешок
И утром всё Минерве перескажет,
А та на голове ее пушок
Пригладит и к руке своей привяжет.

Минерва покровительствует тем,
Кто пишет, выступает на подмостках,
Создателям поэм и теорем,
Участье принимая в их набросках,
В их формулы вникая и ряды
Созвучий, поощряя мысль и чувство.
Сама она не любит темноты,
Но есть сова: тьма тоже часть искусства!

Хорошо стихи хранятся
В кипарисовом ларце,
Не желтеют, не пылятся
И с посмертной породнятся
Славой в сумрачном венце.

А еще из кипариса
Срублен был другой ларец.
Мимо мелей, мимо мыса,
Не нужна въездная виза, —
Мертвый в нем лежал певец.

В парусах томился ветер,
Средиземная ленца,
Мрачный север на примете.
Как нас мучат оба эти
Кипарисовых ларца!

ЗИМНИЕ ЗВЕЗДЫ

Когда писать поэту не о чем
И западает звукоряд,
Как стрелку переводит стрелочник,
Он устремляет к звездам взгляд,
И эта тема бесконечная,
К нему на выручку придя,
Слепит, как платье подвенечное,
Переливаясь и блестя.

Неважно, летние ли, зимние,
Пожалуй, зимние верней, –
И оживает Полигимния
В красе невянущей своей,
Хотя ползут по складкам трещины,
Побиты торс и голова,
Но гимны вечные и вещице
Находят новые слова.

Итак, зима. Итак, свечение.
Итак, продлен ангажемент
На труд земной и осмысление
Последних тайн, – такой момент, –
Сменив простое, как мычание,
На неподъемное почти...
А звезды зимние в отчаянье
Нужней, чем летние, – учти.

Воробью, залетевшему в церковь, что надо в ней?
Может быть, он хотел в одиночестве помолиться
И не думал, что в церкви так много сейчас людей,
И тем более, что раздражает их в церкви птица.

Вот и кружится, мечется, – выхода не найти:
Где та дверь, то оконце, в которое залетая,
Он надеялся уединение обрести
И защиту, ведь жизнь и ему тяжела земная.

Слишком много людей, украшений, – зачем они?
И слепит его золото, и ужасают свечи.
А еще эти мрачные фрески в густой тени,
А еще этот дым, от него заслониться нечем.

Недоволен священник, с тяжелых подняв страниц
Взгляд на глупого гостя, круженье его, порханье,
А ведь гость-то, быть может, потомок тех чудных птиц –
И блаженный Франциск им Святое читал писанье.

ПИСЬМО

Безумное по почте электронной
Пришло письмо. Как если бы невроз
Надиктовал его характер темный:
Вопрос, вопрос, вопрос, вопрос, вопрос.

Что значат вопросительные знаки
И что на них могу ответить я?
Тем более, что я и сам во мраке
Земного пребываю бытия.

Приятель мой далекий, установку
Смени, вот куст, вот облако, вот сад.
Попробуй взять другую кодировку,
Систему поменять координат.

Смотрю на вопросительную стаю.
Что делать? Где-то ж должен быть ответ.
Как сказано у Чехова? – Не знаю.
По совести, не знаю, Катя. Нет.

ПАМЯТИ А.М.

Сказал, что смерти не боится,
И показал мне револьвер,
Который может пригодиться.
Хотелось взять с него пример,
Грядущий ужас взять на мушку,
В глубоком ящике стола
Держать такую же игрушку:
Спустил курок – и все дела!

О, наши тайные влечения,
Свободный выбор и расчет!
Он умирал в больших мученьях.
В какую тьму душа зайдет
И на смертельной той тропинке
Ее коснется чье крыло?
А то, что он на черном рынке
Купил, ему не подошло.

Человек походить начинает на старую фреску,
Облупившуюся и к былому не склонную блеску.
Впрочем, он-то уйдет, а ее, может быть, обновят.
Пригласят знатоков, окружат, уберут занавеску –
И, пожалуйста, лошади скачут и птицы парят.

Знатоки недоверья не выкажут или сомненья:
Это все-таки Джотто и все-таки это Мантенья,
Ничего, что на старую новая краска легла.
Ну а ты представляешь такое свое обновленье?
Или лучше беспамятство, лучше загробная мгла?

На этом снимке я с Нероном,
Как будто он мой лучший друг.
Он смотрит взглядом полусонным,
Но может рассердиться вдруг.

И в самом деле, можно ль к бюсту
Так подходить, сниматься с ним?
А вдруг проснется злое чувство –
А в гневе он неукротим.

И разве я люблю Нерона?
Он в римской тоге, я в плаще,
Всё это странно, незаконно
И беспринципно вообще.

И всё, что мне о нем известно,
Такой кошмар, сплошное зло!
А вот поди ж ты, сняться лестно
С ним, – столько времени прошло!

Клод Моне говорил приблизительно так:
Выходя на пленэр, позабудь про овраг,
Если это овраг, и про дуб, если дуб,
И про горный уступ, если это уступ.

Просто думай: вот здесь желтоватый овал,
А под ним треугольничек розов и мал,
И зеленые полосы, полосы сплошь,
Если скажешь себе: это ветви, – соврешь.

И не думай о сходстве; на что ни взгляни,
На волну ли, на поле, на речку, на луг, –
О себе позаботятся сами они,
Из блаженной бессмыслицы явятся вдруг!

Сам себе говорю: не мешай,
Заслоняешь мне мир этот чудный,
Где цветет по полям иван-чай
И топорщится мох изумрудный.

Сам в сторонку себя отведу.
Посреди тишины и свеченья
Ты лелеешь тоску и тщету
И приносишь одни огорченья.

Стой тихонько, не двигайся, жди.
Потерпи, я приду за тобою.
О, как поле блестит впереди
С огибающей поле тропею!

Как река за ним блещет, слепя,
На стеклянный прилавок похожа!
Я хочу отдохнуть от тебя,
Не терзая себя, не тревожа.

Как-нибудь обойдись без меня,
С полчаса потопчись: ты наказан.
О, не порть мне счастливого дня,
Ты ко мне лишь до смерти привязан.

Теперь не слышен мне ни лязг, ни гром
Землечерпалок и камнедробилок –
И хорошо! Пусть ходит ходуном
Листва и ветер гладит мне затылок –
Не слышу их, но чувствую, слежу
За ними восхищенными глазами,
Морскою пеной больше дорожу,
Чем прежде, белогривыми волнами.

А если что-то сброшу со стола,
Блокнот ли, ручку, – странная пропажа
Волшебна так, чудесна и хитра,
Что как-то и не огорчает даже,
А человек, мне кажется, уже
Сказать не может ничего такого,
Чего бы я не знал, чему в душе
Заранее не подобрал бы слова.

Фредерик, вы должны обессмертить себя,
Фортепьяно для этого мало,
И любя вашу музыку, страстно любя,
Я хотел бы еще и вокала,
И симфонии, оперы вам пожелать,
Без сюжета нельзя и героя!
Надо Моцарту быть и Россини под стать,
Барабана прошу и гобоя.

Фредерик, полюбите фагот и трубу,
Вам не скучно без флейты и скрипки?
Я готов обратить пожеланье в мольбу:
Постарайтесь избежать ошибки,
Полонез превосходен, прелестен этюд,
Безусловно прекрасна мазурка,
Но от вас и во Франции большего ждут,
И в тяжелых снегах Петербурга.

Фредерик улыбается. Он не взбешён,
Не смущён, не сердит, не расстроен.
В этих увещеваниях есть свой резон,
Его старый учитель достоин
Уважения. Вот и Мицкевич к нему
Подходил с тем же самым советом.
Он напишет ноктюрн и приложит к письму —
И ноктюрн будет лучшим ответом.

Может быть, ангел берет наобум
С полки какой-нибудь том?
Может быть, ангел завидует двум
Щеткам в стакане одном?

Может быть, он открывает буфет
И отпивает коньяк?
Мы ж на бутылке не станем помет
Делать, ведь это пустяк!

Может быть, небо полуночи в тех
Нами любимых стихах
Отдал бы ангел, хотя это грех,
За поцелуи впотьямах?

Может быть, скучные песни земли
В скорбном соседстве могил
Ангелу что-то понять помогли,
Моцарта он полюбил?

Может быть, ангелу жар батарей
Нравится, стол и тетрадь?
Может быть, ангелом быть тяжелей,
Чем человеком, как знать?

В вечернем солнце медно-красный
Сосновый лес, плавильный жар,
Знакомый с детства, безотказный
Смолистый дух и скипидар.

Как будто в свете знаний новых
И не стареющих идей
Открыто райских, стометровых,
Лучисто-ярких сто дверей.

Я верю с детства в это чудо,
Однажды вечером оно
Ко мне придвинулось оттуда,
Где было пламя зажжено.

И обещало этой жизни
Поддержку высвеченной, той,
И поэтические мысли,
И пенье строчки стиховой.

Поэт рождается в мгновенья
Такого яркого огня,
И все мои стихотворенья
Уже глядели на меня.

Уже замыслены, напеты,
И надо только взрослым стать,
Проникнуть в тайны и заветы,
Чтоб их из пламени достать.

Оревуар, адьё и до свиданья,
Аривидерчи, ауфидерзейн,
Гудбай, гуднахт, – в минуту расставанья
Неву ли, Темзу, Тибр увидим, Рейн?

А может быть, какую-нибудь речку
Поменьше, Суйду, скажем, как она
Была, подобно тусклому колечку,
Мне из окна вагонного видна.

Влекла, манила, солнцем разогрета,
И говорила в зарослях о том,
Что и она в каком-то смысле Лета,
В прощальном смысле, чудном, неземном.

СОДЕРЖАНИЕ

1.

«Хорошо, что ни яхты у нас, ни виллы...»
 «Кто ты? Что ты? Кто ты? Что ты?...»
 «Я даже ручку дверную люблю...»
 «Эти трое любят первую ласточкой...»
 «Душа – элизиум теней и хочет быть звездой...»
 «Утром тихо, чтобы спящую...»
 «Мы в постели лежим, а в Чегеме шумит водопад...»
 «Мои друзья, их было много...»
 «Вдруг сигаретный дым в лучах настольной лампы...»
 «Не говори мне о потомках...»
 «Поговорить бы тихо сквозь века...»
 «Мой друг, за всех, кто в мире одиноко...»
 «Да, надо бросить всё, поехать в Нарву, что ли...»
 «Ночь в деревне завидует ночи в городе...»
 «Смысл жизни надо с ложечки кормить...»
 «Когда б не смерть, то умерли б стихи...»
 «На месте Дельвига подарок бы не принял...»
 «Я лучше, кажется, была...»

2.

«Я-то помню еще пастухов...»
 «О, водить бы автобус из Гатчины в Вырицу...»
 «Собака живет во дворе, на цепи...»
 Лопух.
 «Любимый запах? Я подумаю...»
 «Влажных бабочек что-то ни разу...»
 «Каково это елкой явиться на свет...»
 «А что было с Лазарем дальше, увы, не знаем...»
 Сон в летнюю ночь.
 «О «Бродячей собаке» читать не хочу...»
 «И не такие царства погибали...»
 Платформа.
 «Художник напишет прекрасных детей...»
 «Венеция, не умирай, не надо!..»
 «Как горит на закате...»
 «Корсика, Эльба и остров Святой Елены...»
 У моря.
 «Супружеская пара. Терракота...»
 «Как с морем жаль бывает расставаться...»

3.

Разговор с циклопом.
 «Что случилось? – спросил я его вдову...»

«Очки должны лежать в футляре...»
 «Представляешь, там пишут стихи и прозу...»
 «Разговор ни о чем в компании за столом...»
 «Услужлив, узок, как пенал...»
 Немецкая сказка.
 Портрет.
 «Дождь не любит политики, тополь тоже...»
 «Отгородясь от мира ясенем...»
 На Большом проспекте.
 «Разве мы виноваты в почтовых своих адресах...»
 Новая Земля.
 «Любимый прозаик считал, что Паскаля...»
 «Когда судьба тебе свою ухмылку...»
 «Слово «весел», «веселый», «веселье...»
 «Из письма я узнал о чужом несчастье...»
 «Уж если умирать, то осенью, – сказали...»
 «В импрессионизме милосердия...»
 «Питер де Хох оставляет калитку открытой...»

4.

«Пока Сизиф спускается с горы...»
 «Жизнь загробная хуже, чем жизнь земная...»
 «Что Вергилий про воду в ведре и про лунный луч...»
 «А теперь он идет дорогой темной...»
 «Англии жаль! Половина ее населенья...»
 Епископ.
 «Как выточен, как выпучен...»
 «Когда листва, как от погони...»
 «Тайны в Офелии нет никакой...»
 «Имя Осип – не лучшее имя...»
 «Осип Эмильевич, два-три заскока...»
 «Я люблю тиранию рифмы – она добиться...»
 «Минерва спит, не спит ее сова...»
 «Хорошо стихи хранятся...»
 Зимние звезды.
 «Воробью, залетевшему в церковь, что надо в ней?...»
 Письмо.
 Памяти А.М.
 «Человек походить начинает на старую фреску...»
 «На этом снимке я с Нероном...»
 «Сам себе говорю: не мешай...»
 «Клод Моне говорил приблизительно так...»
 «Теперь не слышен мне ни лязг, ни гром...»
 «Фредерик, вы должны обессмертить себя...»
 «Может быть, ангел берет наобум...»
 «В вечернем солнце ярко-красный...»
 «Оревуар, адъё и до свиданья...»